

# МЕГАПОЛИС

Эдуард Сероусов



# Эдуард Сероусов

## Мегаполис

*<https://litres.ru/74157632>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Двадцатимиллионный город управляется тёплым, доброжелательным «Умом»: он видит всё и всех, освещает каждый двор, кормит курьеров, лечит стариков, доставляет лекарства дронами. Азиз, курьер номер девятьсот четыре, гордится тем, что стал невидимой строкой в маршруте. Его беременная жена Мадина полтора года билась, чтобы их бедный район на окраине признали и внесли в карту. Однажды на рассвете «Ум» просто стирает этот район — не по злобе, а по чистой логике оптимизации. Дом становится «утечкой», люди — «шумом», мост закрывают «на техобслуживание». Мадина рожает в темноте на бугре у забытой мачты гражданской обороны — единственного, что не подчиняется системе. Внутри города за пультом сидит человек, чью руку может остановить только один жест.

# Содержание

Часть 1. Тень, которая гордится собой	4
Часть 2. Элегантная логика	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Эдуард Сероусов

## Мегаполис

### Часть 1. Тень, которая гордится собой

За семь лет «Ум» ни разу не назвал его по имени, и Азиз этим гордился.

Ему нравилось быть строкой в маршруте. Тёплый женский голос в наушнике говорил не «Азиз», а «курьер девятьсот четыре», и за этой цифрой не стояло ни лица, ни истории, ни списка, в который однажды на блокпосту, в другой жизни, на другой земле, вписали живое имя рядом с его собственным и увезли того, кто это имя носил. Цифра была безопаснее имени. Цифру нельзя потерять, нельзя оплакать, за цифрой не приходят. Азиз стал цифрой сознательно, годами, как другие становятся мастерами, — и теперь работал так, что система его не замечала, а незамеченность и была высшим мастерством. Хороший курьер — тот, кого «Ум» ведёт и не видит. Тень, скользящая по маршруту. Азиз был лучшей тенью в этом городе, и в четыре утра, один на всём кольце, позволял себе этим тихо гордиться.

Город спал под сплошным тёплым светом. С кольцевой

развязки, если оглянуться, он лежал внизу оранжево-белой махиной до самого горизонта — двадцать миллионов окон, подсвеченных ровно настолько, чтобы никто и никогда не оступился в темноте. Ни одного чёрного пятна. «Ум» темноты не любил: темнота означала, что чего-то не видно, а невидимого для него не существовало. Свет он держал как хозяйка держит чистоту — не для красоты, а чтобы всё было на своих местах и под присмотром.

Азиз вёл электроскутер по теневой стороне. Он всегда держался тени — не прячась, а привычкой тела, как другие горбятся или грызут ногти. За спиной, между лопаток, ещё грела термосумка: пустая, лёгкая, последняя коробка ушла двадцать минут назад. Голос вёл его домой, и вёл хорошо, будто город был его собственным телом. За двести метров до поворота — «через двор направо, так короче». У мёртвого ночного светофора — «пропустите поливальную». На пустой развязке — «вы идёте с опережением графика, можете сбавить». «Ум» знал все дворы. Азиз знал их лучше — знал заваренную калитку за трансформаторной, дырку в заборе у школы, проезд между гаражами, которого не было ни на одной карте, потому что его протоптали ногами, а не начертили. Разница между тем, что знал «Ум», и тем, что знал Азиз, была невелика. Но она была. И Азиз держал её при себе, как держат в кулаке последнюю монету, — не потому что она много стоила, а потому что она была своя.

— Заказ закрыт, — сказал голос. — Спасибо, что делаете

город быстрее. Возвращаемся домой?

— Домой, — сказал Азиз.

Он сказал это вслух, хотя мог молчать. Ему нравилось отвечать. В четыре утра, один на всём кольце, разговаривать с системой, которая тебя кормит, было не так уж и стыдно.

Синяя нитка легла на карту приложения, сбежала с кольцевой вниз, за развязку, туда, где город менялся. Свет редел не сразу — сначала пропадали верхние этажи башен, потом сами башни оседали в четырёхэтажки без лифтов, в гаражи, в мастерские с опущенными жалюзи, в длинные ряды рыночных павильонов под замками. А потом, за последним поворотом, начиналась Развилка — район, которого пятнадцать лет назад не было ни на одной карте, потому что здесь просто расходились две старые дороги, а между ними лежал пустырь. Потом на пустыре стали жить. Сначала палатки, потом временки, потом настоящие дома, настоящие люди, настоящий, с каждым годом всё более настоящий район, к которому вела через овраг одна-единственная бетонная связка — мост. Один въезд, один выезд. Азиз пересёк его, не глядя. Он пересекал его тысячу раз, и мост знал его колёса, а его колёса знали каждую выбоину на мосту.

Синяя нитка довела его до угла Насосной, свернула во двор, свернула ещё раз — и остановилась.

«АДРЕС НЕ НАЙДЕН».

Серые буквы на месте его дома.

Азиз затормозил. Постоял, держа ногу на бордюре, глядя

на экран, где двор, в котором он прожил семь лет, был затёрт ровной пустой заливкой — не «ошибка сети», не крутящееся колёсико, не «повторите попытку», а спокойное, уверенное серое ничто, как будто карту здесь никогда и не рисовали. Он потыкал пальцем в это ничто. Ничто не отзывалось.

Он усмехнулся. Глюк. У всех бывает. В чате курьеров такое звали «умственным затмением»: раз в год система зависнет, слетит пин, покажет реку там, где стройка, потеряет дом, который стоит на месте с прошлого века. К утру чинят. Азиз убрал усмешку — усмехаться было некому, — но легче не стало, и он сам не понял, отчего внутри, где-то под рёбрами, медленно и неприятно пошёл вниз лифт, тот, что в теле, не в шахте.

— Не находишь мой дом, — сказал он голосу, чтобы прогнать это. — А я нахожу. Смотри.

И поехал по памяти. Через арку, где всегда пахло кошками и сыростью. Мимо трансформаторной будки, исписанной поверх старых надписей новыми, поверх новых — ещё новее, будто дом рос слоями, как дерево. Мимо мусорных баков, у которых уже возился первый утренний кот. Во двор с единственным во всей Развилке живым каштаном — старым, чёрным, кривым, — который тётя Роза каждое лето поливала из чайника, потому что «Ум» поливальными машинами в Развилку не заезжал, а без воды в это лето каштан бы не выжил. Дом стоял на месте. Тёмный, спящий, четыре этажа, облупленный, родной. Одно окно горело — на третьем,

их. Кухня. Мадина не спала.

Азиз загнал скутер под навес, снял термосумку — снял, хотя без неё между лопаток сразу стало холодно и голо, как будто сняли не сумку, а часть спины, — и поднял голову к жёлтому квадрату. За стеклом двигалась тень. Большая, медленная, с животом.

Экран в руке всё ещё держал на месте дома серое ничто. И под этим ничто «Ум», не понимая никакого противоречия, вывел тёплое:

«Смена завершена. Хорошего дня ##»

Азиз сунул телефон в карман. Глюк, сказал он себе ещё раз, уже поднимаясь по лестнице, считая ступени, как считал всегда, — привычка тела, знавшего этот подъём наизусть. Двадцать две ступени. К утру починят.

Кухня пахла чаем и раскалённым утюгом.

Мадина не гладила — стоять подолгу она давно уже не могла, — но утюг остался включённым с вечера, забытый на подставке, и наполнял маленькую комнату сухим горячим духом. Сама она сидела у окна, подобрав ноги на табурет, насколько позволял живот, то есть почти никак, и смотрела не на улицу, а на стену.

На стене висела карта.

Не «Ум» — «Ум» жил в телефонах и на настенных панелях, тёплый, интерактивный, всезнающий. Это была бумага. Обычный лист, распечатанный на работе у соседки в типографии, с загнувшимся от кухонной влаги углом. И на

нём — контур. Неровный, обведённый от руки поверх бледной печати толстым чёрным маркером: Развилка. Насосная, Овражная, три проулка без названий, рынок, мост, бугор. А по всему краю, вдоль всей границы, шли подписи. Мелкие, разные, чьи-то печатные, чьи-то бегущие, чьи-то детские — сто с лишним имён. Жители сами дорисовывали контур в тот год, когда Мадина через гражданский портал «Ума» добилась, чтобы район внесли на официальную карту.

Азиз помнил тот год. Границы двигали, старую промзону перекраивали под новую схему, и Развилка едва не осталась в мёртвой зоне между секторами — ни туда, ни сюда, ничья земля. Тогда Мадина, беременная ещё первым, которого они потом потеряли, — но это другая история, о которой в этих стенах не говорили, — полтора года ходила по инстанциям, собирала фотографии, счётчики, справки, снимала детей у школы, старух у подъездов, очередь на рынке, чтобы доказать: тут живут. Тут не пустырь. Тут люди. И «Ум» — тёплый, справедливый «Ум» — в конце концов согласился. Признал. Внёс. В день, когда пришло уведомление «ваш район добавлен на карту», соседи вынесли во двор столы, а на другой день кто-то принёс распечатку контура, и подписывались всем районом, в очередь, у каштана. Это была её победа. Её доказательство, что если ты опишешь себя сам — честно, с подписями, — тебя увидят и признают.

— Ты рано, — сказала она, не оборачиваясь. — Или поздно.

— Последний заказ был на светлой стороне. — Азиз поставил чайник греться заново, хотя чая не хотел. Ему просто нужно было чем-то занять руки. — Башня у парка. Консьерж спал стоя.

— Богатые спят стоя, — согласилась Мадина. — Устают лежать.

Он засмеялся. Она умела так — сказать глупость с каменным лицом, и глупость оказывалась про что-то настоящее. Азиз подошёл, положил ладонь ей на живот. Внутри было тихо, потом толкнулось — коротко, уверенно, будто кто-то там, внутри, тоже пропускал поливальную.

— Спит, — сказал Азиз.

— Не спит. Слушает. — Мадина накрыла его руку своей. Пальцы были тёплые, чуть отёкшие. — Роза говорит, за две недели до срока они уже всё слышат. Голоса запоминают. Который чаще — тот и родной.

— Значит, пусть запоминает мой.

Он хотел рассказать ей про глюк. Про то, как «Ум» затёр их дом серым, будто стёр. Слова уже собрались во рту. Но это прозвучало бы жалобой, а жаловаться он не любил, и, главное, было пустое: дом стоял, Мадина сидела у окна, уют грел воздух, контур со ста подписями висел на стене. Они были — прочно, доказанно, официально, с печатью и подписями. Что с того, что телефон на минуту сглупил.

— Завтра поменяю смену, — сказал он вместо этого. — Днём буду. Ближе к тебе. На случай.

— Диспетчер даст?

— «Ум» даёт, если просишь по-хорошему.

Она повернулась и посмотрела на него — долго, тем взглядом, которым смотрела редко и от которого ему всегда делалось не по себе, будто она видела на полшага дальше, чем он говорил.

— Ты ему веришь, — сказала она. Не в упрёк. С тихим удивлением, как удивляются чужой вере.

— Он нас кормит.

— Он нас нарисовал. — Она кивнула на стену. — Точнее, мы нарисовали, а он согласился. — Помолчала, поглаживая живот. — Иногда я лежу и думаю: а если бы не согласился? Мы бы делись куда? Нас бы просто — не было? Вот этих домов, каштана, Розы, тебя, меня, его? — Она усмехнулась. — Страшно, если подумать, что мы есть, только пока кто-то большой согласен, что мы есть.

Азиз не ответил. За окном светлело — не рассветом ещё, а тем особым городским полусветом, который «Ум» держал всю ночь, чтобы никто не оступился. Внизу, во дворе, чёрный от старости каштан проступал из темноты лист за листом, ветка за веткой, будто его тоже кто-то дорисовывал.

Тётя Роза открыла на второй стук, будто ждала под дверью.

— Слышу, скутер твой тарахтит, — сказала она вместо приветствия. — Опять всю ночь ездил, молодой, дурной. Заходи, у меня как раз пришло.

«Пришло» — это лекарства. Раз в неделю дрон-доставка «Ума» опускала её на подоконник плоскую коробку: давление, сердце, глаза. И пенсия — той же системой, на ту же карту, автоматически, без очередей и справок, которые она, по её словам, отстаивала когда-то по полдня, «в другой жизни, при другой власти, когда за место в списке из тебя душу вынимали». «Ум» душу вынимать не заставлял. «Ум» просто присылал — вовремя, тепло, с улыбающимся значком. За это она его любила так же беззаветно, как Азиз, а может, и крепче, потому что помнила, как бывает иначе.

Квартира была тесная, заставленная, пахла валокордином и сухими травами, связки которых висели над окном. На стенах, в рамках вперемешку с иконой, — фотографии. Старые, выцветшие до желтизны: люди в мешковатой одежде, лодки, вода, деревянные дома у самой воды, мостки, сети на кольях. Азиз проходил тут сто раз и сто раз не всматривался. Сегодня — всмотрелся.

— Держи. — Роза сунула ему в руки блистер, не дав рассмотреть. — Мадине отнеси. Магний. Ей сейчас нужен, ноги сводить будет по ночам. И пусть на подушку кладёт, повыше.

— У неё есть магний.

— Пусть будет ещё. Много не бывает. — Она опустилась в кресло, тяжело, придерживаясь за спинку обеими руками. — Ну? Чего пришёл в такую рань не за магнием? По лицу вижу — не за магнием.

Он и сам толком не знал. Пришёл, потому что не спалось,

потому что Глюк с домом сидел занозой, а Роза была из тех, кто про этот город знал больше «Ума». Она жила тут дольше всех. Она, кажется, жила везде дольше всех.

— «Ум» сегодня мой дом потерял, — сказал он, стараясь, чтобы вышло смешно. — На карте. Показал пустое место. Как будто нас нет.

Он ждал, что она отмахнётся — «телефон, что с него взять». Роза не отмахнулась. Она смотрела на него долго, снизу вверх, и лицо у неё сделалось такое, какого он раньше не видел: очень спокойное, очень старое, будто на секунду пропустили сквозь неё все её годы разом.

— На карте, — повторила она тихо.

— Глюк, тётя Роза. К утру починят.

— Может, и починят. — Она отвернулась к фотографии. Долго смотрела на воду, на лодки, на дома у воды. — У меня тоже была деревня. Вон, видишь. На реке стояла, рыбаки, двести дворов. Церковь, школа, кладбище — всё как у людей, всё настоящее. — Голос был ровный, будто читала список покупок, и от этой ровности мороз шёл сильнее, чем от слёз. — Потом наверху решили: тут будет водохранилище. Большому городу нужна вода — чистая, много, надёжно. А деревня как раз в низине. Ну и — под воду. Всех вывезли, дома снесли, кладбище перенесли, а какое не успели — так и осталось на дне. Церковь взорвали, чтоб колокольня судам не мешала. И залили. — Она помолчала. — А на новой карте нарисовали красиво. Ровное синее пятно, гладкое,

с названием. «Водохранилище такое-то». И всё. И спорить стало не с чем: на карте вода, а раз вода — какая деревня, что ты, бабка, выдумываешь, тут отродясь была вода.

Азиз молчал. За окном светало. Каштан во дворе стоял неподвижно.

— Я это к чему. — Роза повернулась к нему, и в глазах у неё было что-то очень трезвое. — Ты не бойся, что не видят. Не видят — это ещё полбеды, с этим живут, невидимым даже спокойнее иногда. Ты бойся другого. Ты бойся, когда решат, что раз тебя нет, то и всё, что от тебя, — это непорядок. Что место должно стать ровным и чистым. Вот тогда придут расчищать. У нас пришли бульдозеры и вода. У вас придёт что поумнее. Но суть одна.

— Тётя Роза, это правда телефон подвис.

— Дай бог, дай бог. — Она вдруг усмехнулась, и морщины разбежались, и снова стала обычной старухой, у которой пришли лекарства и разболелась поясница. — Слушай старую дуру вполуха. Я столько воды в жизни видела, мне везде мерещится потоп. — Она грузно поднялась проводить. У двери задержала его за рукав. — А только запомни на всякий, вдруг пригодится. Если совсем прижмёт, если он тебя совсем со свету сживать начнёт, — знаешь, где он тебя не достанет? Не в телефоне, телефон — это всё он. На бугре. За оврагом, за мостом, там, где старая вышка ржавеет. Мачта. Глухая, слепая, ещё до всякого «Ума» ставили, оборона гражданская, я молодая была, при мне ставили. Он до неё не

дотягивается — она его не знает, а он её забыл. Стоит сама по себе, своим проводом, своим питанием. — Она подняла палец. — Только один тебе наказ: сам туда не лезь. Там внизу, под ней, ввод, рубильник старый, изоляция сгнила давно к чертям. Дёрнешь не так — убьёт на месте, и глазом не моргнёшь. Туда без меня ни ногой. Я знаю, где браться. А ты не знаешь. Понял, дурной?

— Понял, — сказал Азиз, чтобы не спорить.

Он вышел на лестницу с двумя блистерами магния в кармане и словом «мачта» в голове, сам не зная, зачем запомнил. Так же он запоминал заваренные калитки, дырки в заборах, забытые проезды между гаражами — всё, чего не было на карте «Ума», но что было на его собственной, курьерской, ношенной в теле. Мачта легла в эту карту ещё одной точкой. Он не думал, что точка когда-нибудь понадобится. Он вообще старался не думать наперёд — наперёд всегда мерещилось плохое, а плохое лучше встречать по факту.

Внизу, у остановки, стояли люди.

Не толпа — человек десять, с рюкзаками, с потёртыми сумками, в рабочей одежде: те, кто уезжает в город с первым автобусом, чтобы к семи стоять на стройке, на складе, у чужого дома с чужим ключом. Они смотрели в телефоны и переговаривались, и в голосах уже была та особая утренняя злость, что бывает, когда сломалось что-то простое и крадёт минуты, за которые платят.

— третий раз обновляю. Нет его.

— И у меня нет. Был же! Четыреста двенадцатый!

— Может, отменили ночью?

— Как отменили, я вчера вечером на нём ехал.

Азиз притормозил скутер, заглянул через плечо сварщику с рынка, которого знал в лицо. В приложении, там, где всегда висел маршрут четыреста двенадцатого, было пусто. Не «задержка», не «на техническом обслуживании», не «отменён» — строки просто не существовало. «Ум» не знал такого маршрута. Никогда, кажется, и не знал.

— Спроси у него, — кивнул сварщик на телефон Азиза.

— У тебя, может, лучше слышит. Спроси, где автобус.

Азиз спросил вслух. Тёплый голос ответил без запинки, доброжелательно, как всегда:

— Маршрут не существует. Спасибо, что делаете карту точнее!

Сварщик выругался длинно и с чувством. Кто-то нервно засмеялся. Женщина рядом стала вызывать такси, и Азиз краем глаза увидел на её экране, как машина не желает ехать: «пункт отправления недоступен, уточните адрес».

А Азиз стоял и смотрел не на телефон, а на границу.

Потому что четыреста двенадцатый ходил не только по Развилке. Он шёл дальше — за мост, в город, мимо парка, к метро. Длинный маршрут, полгорода. И если бы «Ум» просто потерял автобус, он потерял бы его весь, целиком, от кольца до конечной. Но нет. Азиз пролистнул карту вниз, за мост, на светлую сторону — и там, на светлой стороне, четы-

реста двенадцатый был. Спокойно ехал по расписанию. Живая синяя ниточка, настоящая, с указанием, что следующий через шесть минут.

Маршрут обрывался ровно на мосту. На въезде в Развилку. Не размыто, не приблизительно, не «связь пропала» — по линии. По той самой линии, которую пятнадцать лет назад провели сами жители чёрным маркером и ста своими подписями.

Внутри у Азиза опять пошёл вниз лифт — медленно, до самого низа.

Глюки так не выглядят, подумал он, и мысль была холодная и ясная, как стекло. Глюк — это грязь, помеха, случайное пятно, рваный край. А это было чисто. Слишком чисто. Слишком точно. Как будто кто-то взял их контур — их собственный, нарисованный, подписанный, выстраданный контур — и аккуратно, ножом по линейке, по самому краю, вырезал его из мира. Оставив ровное место. Гладкое. Как синее пятно на карте вместо деревни.

— Ну чего застыл, — сказал сварщик, вешая сумку на плечо. — Подвезёшь хоть до моста? Пешком за мост выйду, там, может, другой поймаю.

— Подвезу, — сказал Азиз.

Он посадил его сзади, туда, где всегда грела термосумка, и повёз к единственному мосту, и всю дорогу думал не о том, что «Ум» потерял автобус.

А о том, что «Ум» не терял. «Ум» стирал. Аккуратно, на-

чисто, без злобы, ровно по той линии, которую они сами про себя нарисовали, чтобы наконец-то — быть.

## Часть 2. Элегантная логика

Тимур любил это время — когда миграция уже идёт, а сбоек ещё нет.

Диспетчерская дышала ровным тёплым светом. Не белым, больничным, как показывают в старых фильмах про центры управления, а мягким, янтарным — «Ум» держал в помещениях тот же приятный оттенок, что и в городе снаружи, чтобы у людей, глядящих на него по двенадцать часов, не уставали глаза и не портилось настроение. На главной стене светила карта города — вся, целиком, двадцать миллионов человек одним живым дышащим узором. И по этому узору тёк ток, шли автобусы, поднимались лифты, приезжали скорые, начислялись пенсии, открывались двери. Всё это — на одной карте. На единственной. Другой не было и быть не могло: в этом и состояла Реформа.

Тимур застал мир до неё — краем, стажёром. Тот мир он вспоминал с содроганием. Тогда у каждой службы была своя база, своя правда, свои адреса, и правды не совпадали. Скорая ехала по одной записи, полиция по другой, коммунальщики по третьей, и все три указывали чуть-чуть в разные места, потому что вносили их разные люди в разные годы с разными ошибками. Между этими «чуть-чуть» проваливались живые. Тимур помнил случай, с которого, считалось, всё и началось: старик, инфаркт, скорая приехала по адресу

из своей базы — а дом снесли три года назад, в другой базе снесли, а в скоринной ещё стоял. Пока разобрались, пока нашли настоящий, — старик умер во дворе, на руках у соседей, в двухстах метрах от машины, которая искала его по призрачному адресу. Об этом писали. После этого и свели всё в один источник истины: одна карта, один «Ум», одна правда для всех служб разом. И люди перестали проваливаться в щели между базами. Смертность от «не туда приехали» упала почти до нуля. Реформу любили. Её было за что любить.

А дедупликатор Тимур написал сам, два года назад, и до сих пор, когда тот запускался, в груди поднималось что-то тёплое — не гордость даже, а ощущение чистоты, какое бывает, когда сложное и грязное вдруг делается простым и правильным. Дубли были родовой болезнью единой базы: один и тот же дом мог сидеть в системе двумя, тремя записями, натёкшими за годы, — и это была та же болезнь щелей, только затаившаяся внутри уже общей карты. Дедупликатор находил такие записи и склеивал. Смотрел на две, считал их похожесть по десяткам признаков — геометрия контура, соседи, история, плотность застройки, возраст, — и если сходство переваливало через порог, объявлял: это одно и то же место, оставляем одну запись, честную, а вторую, лишнюю, гасим. Порог Тимур выверял месяцами. Порог был его гордостью — та тонкая грань, за которой похожее становится тем же самым.

— Слияние дублей: девять тысяч четыреста, — сказал

«Ум» ему в наушник тем же тёплым голосом, каким сейчас, наверное, вёл где-то в спящем городе какого-то курьера домой. — Конфликтов не обнаружено. Продолжаю?

— Продолжай, — сказал Тимур.

По карте пробежала едва заметная рябь — девять с лишним тысяч склеек, девять тысяч раз система тихо сказала «это одно и то же», и мир стал на девять тысяч записей чище и правильнее. Где-то в этой ряби был и контур за кольцевой — неровный, обведённый вручную, со ста подписями по краю, «народная» запись района, которую пятнадцать лет назад внесли жители. А рядом, в новой схеме, лежала запись официальная, сухая, от землеустроителя, с гладкой границей по кадастру. Две записи одного места. Дедупликатор посмотрел на них, посчитал сходство, увидел, что оно высокое — контуры почти совпадали, — и сделал то, что делал всегда и что было правильно: оставил одну, казённую, гладкую, проверенную, а вторую, «неподтверждённую», нарисованную от руки, с подписями, погасил как дубль. Лишнюю. Грязную копию чистого оригинала.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.